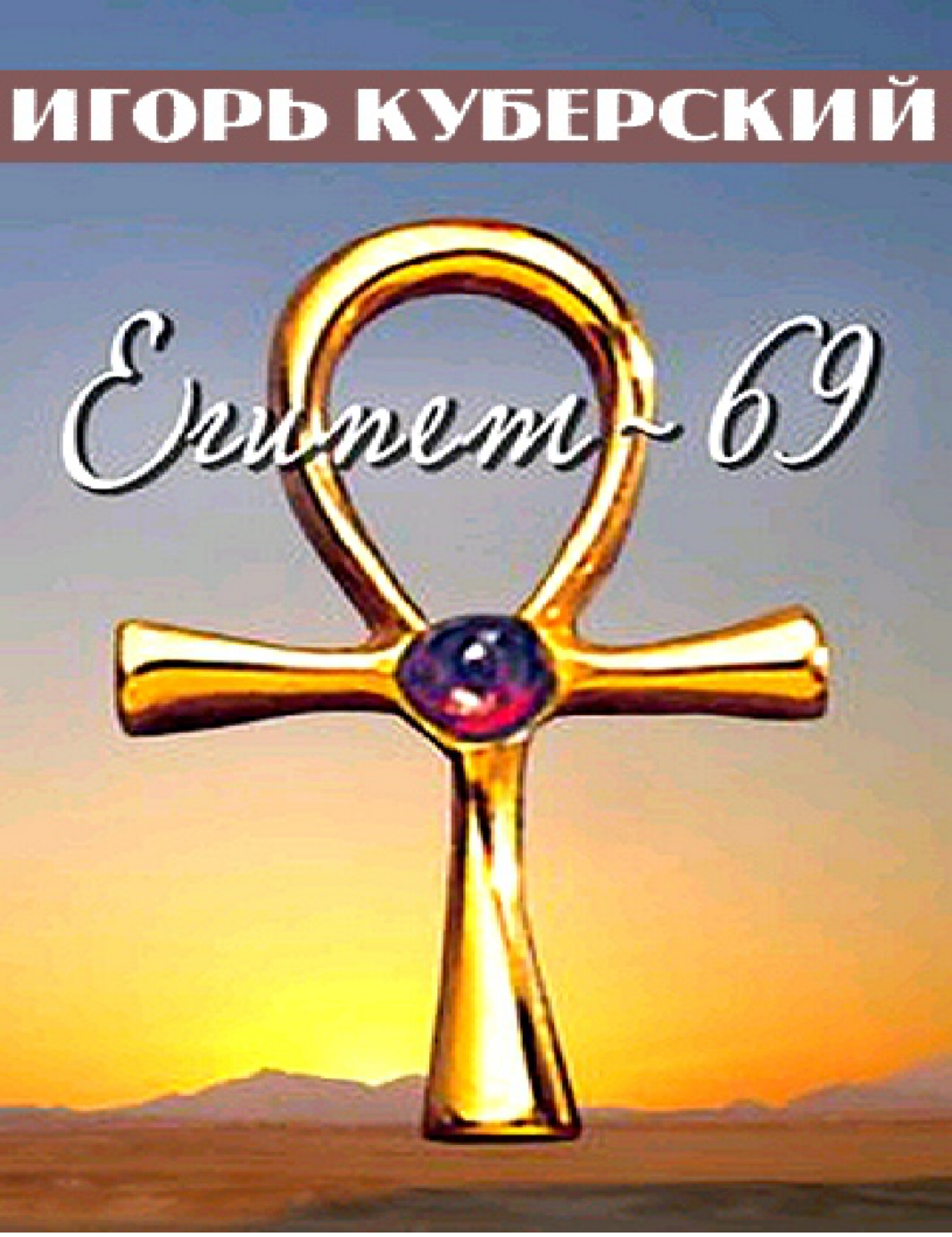
ИГОРЬ КУБЕРСКИЙ



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

О так называемой «Войне на истощение»1967–1970 гг. между Египтом и Израилем до сих пор нет художественных произведений, только несколько монографий. В свое время о ней нельзя было писать, а потом ее заслонила другая война — афганская.

В центре романа, посвященного событиям этой неизвестной у нас войны, молодой лейтенант, военный переводчик, выпускник Ленинградского государственного университета. В составе советский миссии, оказывающей военную помощь арабам, он становится свидетелем, а подчас и участником боевых действий. Но где война и смерть, там и любовь, — она застает главного героя врасплох, навсегда оставляя память о себе.

- Игорь Куберский
  - Часть 1
  - Часть 2
  - Часть 3
  - Часть 4

Игорь Куберский
Египет-69

Часть 1

Я прилетел туда в военное время, названное тогдашним президентом Насером «активизацией боевых действий», а потом историками — «войной на истощение», начавшейся спустя два года после поражения арабов в шестидневной войне 1967-го… По ту сторону Суэцкого канала, на Синае, хозяйничали израильтяне, время от времени над нами распарывали небо израильские «скайхоки» и «миражи», а то ухала вдалеке дальнобойная артиллерия, и вся наша советническая миссия в Египте жила военной жизнью, и когда я читал наши опаздывающие на неделю советские газеты, то ТАССовская информация о боевых действиях в зоне Суэцкого канала, скажем, в районе Исмаилии, чаще всего вызывала ироническую усмешку, — ведь я только вчера оттуда вернулся…

Израильтяне имели явное превосходство в воздухе, успешно бомбили наши, то есть египетские, ракетные и радиолокационные установки, а наши, то есть египетские, «миги», неохотно ввязывались в бой, так как почти всегда терпели поражение, наши устаревшие ракеты «земля-воздух» были малоэффективны, а зенитная артиллерия ПВО, сколько я ее ни видел в действии, ни разу ничего не сбила. Зато, говорили, что танки у нас «что надо», но проверить их боевые качества арабы смогли лишь в 1973-м году, когда у власти был Садат, и в Египте уже не осталось ни одного нашего военного советника. Садата у нас поначалу считали «другом Советского Союза», верным преемником Насера, потом же, когда новый лидер Египта стал гнуть проамериканскую линию, прошел слух, что пятидесятидвухлетний здоровяк и, что называется, красавец-мужчина, Гамаль Абдель Насер умер не без помощи своего лечащего врача. Тот втирал при массаже особую мазь, полученную от израильских спецслужб, которая постепенно приводит к параличу сердца. Эту версию я впервые услышал от генерала-лейтенанта Голубева, Героя Советского Союза, летчика, советника командующего войсками ПВО Египта и моего главного начальника, которая после подтвердилась… Насер умер в 1970-м, Анвара Садата убили в 1981-м, и оба эти имени почти ничего не говорят нынешнему молодому поколению. Редко вспоминают и знаменитую Асуанскую плотину, «памятник советско-египетской дружбы», а сама дружба каких бы то ни было народов воспринимается как советский идеологический анахронизм. И еще Афганистан, огромной тенью заслонивший ту неизвестную нашу (мою) войну… Новая, неведомая, ни на что прежнее не похожая жизнь… Так что же там все-таки было?

* * *

Короче, теперь всем стало понятно — наши ракеты бессильны против низколетящих целей. По высоколетящим они работают нормально, но какой дурак будет летать высоко, там, где тебя достанут не только ракеты, но и допотопные 85-милиметровые зенитные орудия с механизмами ПУАЗО, то бишь приборами управления артиллерийским зенитным орудием, умеющими считывать координаты самолета, его скорость, направление и ту точку, в которой он окажется через пару секунд, чтобы именно туда послать снаряд… Впрочем, это позавчерашний день… А израильтяне не дураки. Они появляются сразу и вдруг на высоте метров пятьдесят-сто, и пиши, пропало. Два месяца назад я уже был с одним из наших советников на приеме у начальника контрразведки египетской армии… Это был суровый замкнутый человек в суровом месте, и я чувствовал себя не в своей тарелке, будто под пристальным взором родного КГБ. Видимо, служба такого рода связанная с совершенно определенным набором действий и мыслей, объединяет людей, делает их похожими друг на друга, независимо от идеологии, религии, национальности и модели экономического развития. Так похожи музыканты, в каких бы составах и где бы они ни собирались. Так, видимо, сходны и разведчики вместе с контрразведчиками, и всякие там службы госбезопасности. Я мало встречался с этими ребятами, но впечатление — общее. Это люди без личности, люди, закрывшиеся не только от других, но и от самих себя, а потому беспринципные и жестокие. Таков был и это высокий египетский чин. Он слушал нас внимательно и вопреки общепринятому здесь правилу даже пальцем не шевельнул, чтобы произвести на нас хорошее впечатление. Он был мрачен, суров, и от нас ему нужны были только цифры и даты — ТТД, то есть тактико-технические данные, а также когда и сколько.

Речь идет о поставках ЗРК «Стрела-1» — то есть самоходного зенитно-ракетного комплекса с весом ракеты 30, 5 килограмм, поражающей цели на высотах от 300 метров до 3, 5 километров, и ПЗРК «Стрела-2», переносного комплекса, поражающего цели самонаводящейся управляемой ракетой на высотах от 50 до 1500 метров, при дальности действия до трех с лишним километров, при массе в боевом положении всего-то навсего 14, 5 кг, почему и можно стрелять хоть с плеча…Американские «стингеры» еще в разработке, а наша «Стрела-2» уже принята на вооружение…

На миг неподвижное лицо контрразведчика преображается — я не узнаю его, оно светится праведным огнем мести, и я буквально считываю то, что предстает перед его мысленным

взором — горящие обломки сбитых «миражей», «скай-хоков» и «фантомов».

То, что на канал прибыло несколько расчетов наших специалистов, готовых поработать по израильской авиации, было сверхсекретом. Им и предстояло в кратчайшие сроки научить арабов пользоваться этими комплексами. Первые пуски превзошли все ожидания. За один только летний день десятью ПЗРК были сбиты шесть самолетов Израиля. Избегая огня зенитно-ракетных комплексов С-75 и С-125, израильская авиация использовала малые высоты и поплатилась. Арабы ликовали — израильтяне были в шоке. Но их разведка сделала свое дело, и вскоре причина потерь была раскрыта. Наверняка, среди высшего офицерского состава арабского генштаба у них были свои агенты, и самолеты израильских ВВС снова полезли в высоту, где было больше шансов избежать контакта с нашими ракетами. Забегая вперед, скажу, что «Стрелой-2» за год моего пребывания в Египте было уничтожено 17 боевых самолетов Израиля.

Прямо из Генштаба приезжает генерал-лейтенант Гавашелия, чтобы проверить, как арабы осваивают наше новейшее оружие. Мы с Ведениным должны сопровождать его на Суэцкий канал. Отправляемся в восемь утра. Для меня это рановато. Впрочем, для меня вообще придти вовремя на службу — проблема. Мне всегда не хватало и не хватает пяти минут — в школе, в университете… Это какое-то проклятие. Не то чтобы я был соней и копухой. Нет. Но мне всегда было трудно выйти заранее, с запасом. Я всегда старался выйти так, чтобы точь-в-точь. Но для этого действительность должна была идеально мне соответствовать, а она постоянно в последний миг подсовывала проблему — оторвавшуюся пуговицу, нечищеные туфли, дырку в носке, внезапный позыв мочевого пузыря или что хуже — кишечника, телефонный звонок или опоздавший автобус. Опаздывал я и теперь, что было совсем нехорошо. Подчиненный должен являться раньше начальника, а я еще поспешаю от своих жилых блоков к дому в полукилометре от меня, где живет Веденин и где нас ждет машина с генералом — черный мощный шевроле, предназначенный только для высокого начальства… Я бегу по утренним кварталам Наср-Сити, мимо новой мечети, которые появляются вместе с новыми кварталами, с неизбежностью очередных памятников Ленину у меня на родине, в спину мне с двух высоких минаретов звучит усиленный динамиками пронзительно высокий голос муллы, призывающий к утреннему намазу, а я бегу, высунув язык, по утренней жаре, которая еще не очень ощущается, потому что ее сопровождает утренний ветерок, бегу на взаправдашнюю войну, чтобы

мусульмане могли здесь честно и спокойно возносить хвалы Аллаху, пока мы на канале будем делать все возможное, чтобы эти молитвы не прервал вой сирены и рев израильских «миражей».

Веденин и генерал Гавашелия с молчаливым укором ждут меня возле роскошного шевроле-седана. Это я должен ждать, стоя навытяжку… Впрочем, мне ничего не говорится — это как бы ниже генеральского статуса, но и молчание бывает весомым… Садимся в машину — генерал впереди, и мчимся из города. Задача наша — оценить ситуацию объективно, то есть с чисто нашей стороны…Позиция арабов нам и так ясна. Мы же считаем, что арабы просто плохо пользуются тем, что им поставляется. Водитель-араб знает, куда нас везти. Возможно, он из арабской контрразведки. Возможно, он даже понимает, о чем говорит этот русский генерал… Нам доверяют, но, скорей всего, нас и проверяют.

Генерал Гавашелия, московский благодушного нрава грузин, только вчера прилетел, прежде в Египте не был и полон впечатлений. Он красноречив и, видимо, умеет без малейшего акцента произносить за праздничным столом длинные и велеречивые тосты. «Какой красивый народ! — говорит он, глядя в лобовое стекло. — Какие красивые арабские женщины! Какая ужасающая нищета! Этот народ столько пережил, он пережил гибель собственной культуры. Не все народы смогли это пережить — потерялись, растворились в других народах. А он выстоял. Какие здесь у всех улыбающиеся лица! Нет, народ, который так улыбается, не победить! А евреи — что евреи? Они лишились своей государственности еще две тыщи лет назад. Нынешний Израиль — это искусственное, ненастоящее… Это детище политиканов, которым нужен Ближний Восток». Генерал полон пафоса, который мы готовы разделить с ним. А может, все это предназначено для записывающего устройства в машине, если, конечно, наш молчаливый водитель из контрразведки. Но то, что говорит Гавашелия, на наш взгляд, недалеко от истины. Почти истина и есть.

На выезде из города, когда мы останавливаемся у перекрестка, к машине бросаются два арабских мальчугана, чтобы протереть грязной тряпкой наше идеально чистое лобовое стекло. «Имши!», то есть «вон отсюда!» — делает сердитый жест кистью левой руки наш водитель — и мальчишки исчезают. Для нас такое не внове — мальчишки здесь включаются в работу рано — с пяти лет, но генерал задет за живое. Эта сценка переносит его в собственное детство в Гори, хотя он, сын школьного учителя, и не испытал бедности… Его воспоминания украшены эпитетами и

точными грамматическими конструкциями — да, в голодном двадцать седьмом году он помогал матери по хозяйству и разносил по ближайшим лавочкам лепешки, которые она пекла, чтобы поддержать многодетную семью — как никак у генерала два брата и две сестры, и все, слава богу, живы-здоровы и в люди вышли… Генералу явно хочется, чтобы мы спросили, кем же именно стали его братья и сестры, но мы с Ведениным молчим — вышестоящему начальнику не принято задавать вопросы. Гавашелия же хочет произвести на нас хорошее впечатления, для чего и пошатывает дисциплинарный устав… Есть люди, особенно большие начальники, которым это уже неважно, которые уже переросли это, и на их лицах — застывшее недовольство теми, кто ниже, кто подчинен. Но генерал Гавашелия — не такой, он не забывает о подлинных человеческих ценностях и знает цену власти. Власть, если его и испортила, то лишь чуток, то есть не в той мере, в какой она портит человека, в первом поколении оглушенного ею. Гавашелия не оглох и не забронзовел. Возможно, в этом ему помог врожденный артистизм или даже аристократизм, примесь какой-нибудь княжеской крови — ведь там, в Кавказских горах, ей легче было схорониться от большевистского террора, чем на плоских равнинах России. Большинство офицеров-советников, кто меня окружал, выходцы из низов, из трудового люда, чаще — из крестьянства, он же, Гавашелия, больше походит на арабских генералов, представителей высшего сословия, а, как я уже успел заметить, люди богатые, то есть имущие, чем-то неуловимо отличаются от люде неимущих… В СССР черта между богатством и бедностью если не стерта, то скрыта — и в этом смысле непросто определить, кто есть кто. Чаще всего советский имущий — это высокопоставленный чиновник, на государственном обеспечении, получающий от государства машину, дачу, спецпаек и еще кучу привилегий в смысле лечения, курортов, всяких там пошивочных ателье и бесплатных поездок заграницу. Но это не то, потому что это твое, пока лишь ты верный слуга, раб режима. Здесь же я впервые увидел богатых людей, в общем, независимых от государства, даже несмотря на диктатуру Насера и его арабский социализм, и они, эти люди, были другими. Независимыми их делало богатство. Богатство и принадлежность своему роду наделяло их ни с чем не сравнимым чувством собственного достоинства, и они несли это чувство спокойно и несуетливо, не оглядываясь, не зыркая глазами по сторонам, и если они служили государству, и готовы были на жертвы ради него, то не по принуждению, не слепо, не из страха, не под воздействием какой-нибудь дежурной идеи, а по свободному выбору, по собственному

разумению и собственной воле. С этой породой людей я встретился впервые — и она мне, разумеется, импонировала. В генерале Гавашелия тоже было что-то от такой породы, и это подкупало в нем.

Город кончился, и мы помчались на восток по одной из дорог, проложенных бог знает когда — еще в пору верблюжьих караванов. Вдоль дороги тянулся оросительный канал, а дальше — за дорогой, за каналом, за полями посевов — пшеницы, овса, фасоли, лука, за рощами манго, апельсиновых и мандариновых деревьев простиралась пустынная земля, пустошь, пустыня, где ничего не росло и не могло расти. Но и там, я знал, совсем не пусто — в отрытых траншеях, в укрытиях под камуфляжной сеткой, в капонирах рассредоточены египетские вооруженные силы — самолеты, танки артиллерия, пехота, и там, рядом с личным составом армии Египта, жили наши советники и переводчики.

В Эль-Кантаре к нам присоединяется арабский генералитет — три генерала, из них уже знакомый мне бригадный генерал Заглюль, а также его заместитель, полковник Зугдиди, с которым я не раз встречался на КП в Гюшах. Два шевроле мчатся по пустынному шоссе в сторону Суэцкого канала…Там дислоцированы части, вооруженные нашими переносными зенитно-ракетными комплексами для работы по маловысотным целям. Возле Исмаилии мы высаживаемся. Нашему генералу хочется все осмотреть и пощупать, а также продемонстрировать свой демократизм и близость к народу, пусть даже арабскому. Гавашелия интернационалист. Не уверен, что арабам близко это слово. Арабам близки только мусульмане. Весь остальной мир плох и неправеден, в нем живут неверные. Просто сейчас не принято говорить об этом вслух, потому что именно неверные и помогают. Кучка офицеров и генералов сопровождает Гавашелию до ближайшего дивизиона ПЗРК. А израильская военная разведка, видимо, уже пронюхала о нашей инспекционной поездке, потому что начинается артобстрел. Раньше в таких случаях работала бы авиация — теперь все, что израильтяне могут себе позволить, это обстрел по площадям из дальнобойной артиллерии. Она садит из-за канала…

— Хорошо нас встречают! — взбадривается генерал-лейтенант Гавашелия, выступая вперед. Похоже, ему нравится оказаться на войне, вспомнить молодость…

Снаряды с шелестом пролетают над нашими головами и взрываются где-то дальше. Неприятно, когда тебя избирают целью и хотят убить. За что? — вертится в голове вопрос. Но, чтобы получить ответ, надо выжить. Снова шелест, и я оказываюсь на

земле раньше, чем осознаю необходимость этого, впрочем, не я один, а вся группа сопровождения генерала. Почва жесткая, солончаки, крупицы соли довольно болезненно впиваются в ладони. Взрыв где-то за нашими спинами, а мы встаем, отряхиваемся и идем дальше. Снова шелест и мы снова на земле, хотя если слышишь шелест снаряда, значит — перелет, значит, останешься живым. Впрочем, не обязательно, если рванет близко. Короткий накатистый шелест, и снова мы прижимаемся к земле-матушке, а здесь — мачехе.

По мере продвижения к боевым расчетам нас становится все меньше, хотя никто не задет, не ранен и не убит, просто народ постепенно рассредоточивается по окопам и траншеям полного профиля, вырытым по всем правилам военной фортификации, Когда мы, наконец, добираемся до дивизиона ПЗРК, дислоцированного в чахлой пальмовой рощице, я обнаруживаю, что вокруг больше никого, только я с Гавашелией как его переводчик да командир дивизиона, капитан, которому лет двадцать пять на вид. Я не могу прыгнуть в окопчик, хотя мне этого очень хочется, не могу, поскольку остаюсь единственным посредником двух разноязычных миров.

В этот момент справа от нас, совсем недалеко, разрывается очередной снаряд, и один из генералов-арабов, разместившихся у нас под ногами в окопе, жестом приглашает Гавашелию присоединиться к тесной компании.

— Врешь — не возьмешь, — неизвестно к кому обращаясь, расправляет грудь генерал-лейтенант Гавашелия. — Если Гитлер меня не убил, то Моше и подавно не убьет.

Говорит он так, будто лично знаком и с тем, и с другим. Его бесстрашие может мне дорого обойтись, но я не имею права его бросить и вынужден храбриться заодно. Гавашелию же интересует, летали ли сегодня израильтяне и были ли пуски. Однако командир дивизиона не понимает меня — то есть совсем не знает английского, о чем я и ставлю в известность своего генерала, надеясь, что теперь самое время и нам нырнуть в укрытие. Но Гавашелия строго, в первый раз строго и даже сурово, смотрит на меня:

— Вы сколько находитесь в Египте, молодой человек?

— Полгода, — отвечаю я.

— За полгода можно и китайский выучить. Что, совсем не можете объясниться по-арабски, арабок не щупали?

— Могу, — говорю я. Это тот самый случай, когда еще минуту назад я едва ли что помнил из арабского, а теперь вдруг вспоминаю все, что знал или хоть раз слышал. Все необходимые для перевода арабские слова вспыхивают в моем мозгу как звезды

в ночи.

— Самолеты противника были?

— Да.

— Сколько?

— Пять миражей.

— На какой высоте?

— Сто метров.

— Когда?

— Час назад.

— Пуски были?

— Да.

— Сколько ракет?

— Четыре.

— Попали хоть раз или проспали?

— Два попадания. Один мираж задымил и ушел за канал, Второй, кажется, упал в районе Исмаилии.

— Кажется или упал?

— Сейчас разведка уточняет. Но было видно, что ракета попала в цель. В сопло самолета.

— Кто это видел?

— Я сам видел, собственными глазами, — отвечает молодой капитан.

Так мы и говорим втроем, давая засевшему в окопах генералитету наглядный урок мужества. Краем глаза я вижу там и моего слегка смущенного Веденина, прежде не раз демонстрировавшего свое бесстрашие… Видимо, как выражались в моем детстве, дело пахнет керосином, но бравый Гавашелия продолжает расспросы, что без моего участия просто невозможно.

— А… вот и наш полковник Веденин… — подмигивает моему шефу генерал Гавашелия и проходит с командиром дивизиона дальше, я за ними. Снаряды же рвутся и рвутся — теперь уже не у нас за спиной, а на одной линии с нами, только правее, в метрах ста от нас, а то и ближе, будто нащупывая маневрирующую цель…

Наконец разговор окончен, арабский капитан отдает честь, и генерал-лейтенант в знак особого уважения протягивает ему руку для пожатия.

— Ну, а теперь можно и на командный пункт, — говорит он, доставая из кармана пачку папирос «Казбек». — Где там наша свита?

С наступлением темноты возвращаемся той же дорогой вдоль оросительного канала. Черные тени эвкалиптов на фоне серебряной россыпи звезд. Млечный путь дымится точно поперек нашего пути. Кажется, что оттуда кто-то смотрит на нас.

Часть 2

Я не видел ее недели две после 8 марта, когда в здании лэповцев были танцы. И вот утром после ночного дежурства, когда я, отпустив шофера, довезшего меня до дома, пошел купить апельсины, в лавочке у зеленщика мы столкнулись лицом к лицу. Она была в легком шелковом платье, выше колен, по моде того времени, ноги загорелые, стройные, волосы светлые, двумя золотыми лентами падающими вдоль высокой шеи, загорелые плечи прикрыты только двумя тоненькими лямками, сухие сильные ключицы — торс легкоатлетки, лицо узкое, щеки впалые, губы по-негритянски вперед (признак натуры чувственной и лиричной), глаза голубые. Голубой глаз в виде всяческих амулетов по египетским поверьям защищает от демонов. А демоны здесь повсюду — даже образованный египтянин, прежде чем зайти в ванную или туалет, спрашивает на то разрешение у демонов. Эталон красоты здесь — голубоглазая блондинка, Мэрилин Монро. Коран строг, никто не пьет, и вожделение, которое, похоже, испытывают тут все поголовно, ищет себе выход за рамками веры — на чужой территории. Женщинам из России в Каире непросто. Чуть наклоняясь, она держала за руку маленькую рыженькую девочку двух лет. Другая ее рука была отягощена хозяйственной сумкой. В сумке на двух толстых пятернях бананов лежали оранжевые ядра апельсинов.

— О, господи! — сказал я, радуясь встрече, которой подсознательно ждал все эти дни. В то же время мой возглас можно было объяснить и тяжестью ее сумки, которую я немедленно взял у нее.

— Спасибо, — сказала она, словно я и в самом деле появился куда как кстати, и пошла рядом со мной, стройная, легкая, на высоких каблуках, пружинящим шагом бывшей спортсменки. Рыженькая, в папу, девочка семенила рядом, не выпуская ее руки, и задирала ко мне голову, морщась от солнца. Папа был из гражданских спецов, обслуживающих ЛЭП — линии электропередач, идущие от недавно пущенной Асуанской плотины. Они, лэповцы, жили в соседнем с нами, военными, доме.

— Как тебя зовут, малышка? — спросил я. Она не ответила и закрылась от меня своей маленькой, какой-то безумно белой ручкой, цвета корешков, прорастающих на пережившем зиму картофельном клубне. Мы обошли еще несколько лавочек и нас, естественно, везде принимали за супружескую пару, ибо ни одному арабу даже в голову не пришло бы вот так прогуляться с

чужой женой.

— Рядом с мужчиной совсем иначе себя чувствуешь, — сказала она. — Одной тут лучше не появляться. Такого наслушаешься. Только дочь меня и выручает.

— Вы понимаете по-арабски?

— Что они говорят, в переводе не нуждается.

— Просто вы им нравитесь, а они народ открытый.

— Они нас просто не уважают. Мы чужие. Притом все сексуально озабочены. Им что, жен не хватает?

— Далеко не каждый может позволить себе жену. Ее надо кормить и содержать. Просто вы красивая. Красивым везде приходится туго.

Я хотел проводить ее до самого дома, даже, может быть, до самой двери, но она решительно покачала головой и протянула руку за тяжелой сумкой:

— Давайте лучше здесь. А то увидят меня с вами…

— Муж выбежит с топором…

Она засмеялась:

— Мужа дома нет. Но соседки… Им до всего есть дело.

Когда она брала сумку, я задержал ее руку в своей:

— Мы не можем увидеться?

— Можем, — беспечно повела она плечом, глядя мимо меня вдаль, где плели сети из узкой листвы голоствольные эвкалипты. А малышка ее, задрав головку в рыжих кудряшках, внимательно смотрела на меня, словно запоминала для папы наш разговор. — Или не можем…

Потом она внезапно уедет, не попрощавшись, и я так никогда и не узнаю, что же ее потянуло ко мне — скука, одиночество, отсутствие живых впечатлений, любопытство, любовная неудовлетворенность — муж работал в Танте, в шестидесяти километрах на север от Каира, возле дельты Нила, и наезжал только в выходные дни — попытка ли обрести самое себя среди осатанелого однообразия быта в чужой стране, где нет ничего твоего, хотя многое можно купить, мечта ли о другой — яркой и полнокровной жизни, столь заманчивой, если судить по многочисленным голливудским фильмам, шедшим в кинотеатрах Каира. А, может, ее ко мне и не тянуло, и на моем месте мог оказаться любой другой, посмотревший на нее тем же арабским проголодавшимся взглядом молодого холостяка. Но им оказался я, потому что выпал из обычного графика, потому что стал жить один, сутки на дежурстве, двое — дома, с утра все хабиры, то бишь специалисты, все лэповцы на работе, только их жены не знают, куда себя деть, даже если у них дети.

Она была из тех чувственных, простодушных и отчаянных в

любви женщин, которых, увы, так мало встретилось на моем пути. Они бесстрашны, щедры и терпимы и если отдаются чувству, то без всякой задней мысли, им не свойственны капризы, они самокритичны, а любимых — напротив, наделяют всяческими достоинствами. И если они понимают, что час их миновал, то уходят без слез и упреков. Мечта поэта. Я бы осмелился предположить, что это не русский тип женщины, а, скажем, латиноамериканский, колониальный, где мужчина, мачо, — это все, но если бы я хоть что-нибудь в этом понимал.

Дабы оказаться с ней вдвоем в Гелиополисе в ночном клубе «Merry Land», — он недавно был выстроен на месте ипподрома — мне для начала пришлось взять такси на одном конце Наср-Сити и подобрать ее на другом конце, где нас никто бы не узнал. Завидев ее, я велел водителю притормозить. Она заметно волновалась. Я открыл заднюю дверцу, махнул ей, предусмотрительно не вылезая, и она, быстро перебрав разделяющее нас расстояние молодыми ногами в туфельках на высоких каблуках, прыгнула в машину, опустилась рядом и сама захлопнула за собой дверь, как бы продемонстрировав свою безоглядную решимость.

— Вперед! Алатуль! — сказал я шоферу, и тот, словно поняв правила игры, рванул с места как в каком-нибудь американском боевике.

— Уф! — перевела она дыхание. — Чуть не умерла от страха.

— Не бойтесь, — сказал я. — За нами никто не гонится.

Мы были еще на «вы».

— Все равно страшно. Такого еще со мной не было. За два года здесь я еще ни с кем не убегала от мужа.

Как только дверь за ней захлопнулась, я почувствовал, что она моя, и положил ей руку на плечо. Она была в блузке и короткой кожаной юбке, высоко открывавшей ее ноги, и в ее бедре, на поворотах касающемся моего, чудилось столько беспечной радостной силы, что голова моя наполнилась звоном, а чресла жаром.

Прежде я уже был в Мэриленде и чувствовал себя хозяином положения. В тот раз мы пили там всей нашей переводческой кодлой. Да, только пили да говорили — а арабы танцевали со своими арабками. Приглашать арабок никто из нас не рискнул, мы, иноверцы, даже под шафе помнили, что такое шариат, и не лезли на рожон. Чтобы танцевать с арабками, были другие злачные места, здесь же был просто респектабельный ночной клуб для средних буржуа с европейским воспитанием, но тоже блюдущих закон шариата.

Мне тогда понравилось в Мэриленде, и вот я вез туда Ольгу.

В тот раз мне не понравился лишь фотограф со свой вспышкой. Он все время околачивался возле нас, предлагая фото на память, и хотя мы отмахивались, все щелкал и щелкал бесплатно, слепя своим магниевым светом. Я отворачивался, когда успевал, будучи уверен, что он работает на египетскую контрразведку.

И вот я сидел рядом с красивой женщиной, своей, европейской, больше того — русской, и водитель вез нас в сгущающихся сумерках к островку другой жизни под названием «Веселая земля».

… По красной ковровой дорожке мимо кланяющихся раисов в синих, расшитых золотом халатах мы поднялись на второй этаж этого круглого, как шайба, здания, вставшего посреди сада, где вокруг пруда, в котором плавали лебеди, вились садовые дорожки, иногда взбегая на островок с беседкой, в которой также можно было занять столик, но мы предпочли сидеть внутри, так как в конце марта к вечеру становилось свежо, к тому же нам хотелось потанцевать. На втором этаже был полусвет, лившийся откуда-то из-под карнизов, но вскоре и его выключили, а на каждом столике зажегся розовый светильник, да по потолку иногда пробегали всполохи желтых и красных огней — это над кругом танцевальной площадки тихо вращался шар, выклеенный зеркальной мозаикой.

В ту пору во всех ресторанах мира звучали песни «Биттлз». Впрочем, арабский ансамбль, вооруженный европейскими музыкальными инструментами пел и на других языках — французском, итальянском, греческом… Европа была рядом, по ту сторону Средиземного моря, и отсюда казалась гораздо ближе, чем из моей страны. До Италии было просто рукой подать.

Еды мы с Ольгой не заказывали — только фрукты, зато пили, но так, чтобы вино не мешало ногам. Мы не пропускали ни одного танца — Ольга двигалась легко, красиво, и я старался соответствовать ей. На нас посматривали, за нами следили — в тот вечер мы были здесь единственными европейцами. Танцевали же все примерно одинаково — что-то в духе еще модных тогда твиста и шейка. Но был и медленный фокстрот, когда можно было, как в старые добрые времена, обнять, прижать к себе свою женщину, вдохнуть аромат ее кожи, ее французских или еще слаще — арабских духов.

Внизу за окнами совсем стемнело, и все, кто сидел снаружи, перебрались к нам. А там по черным лагунам среди цветов и беседок скользили белые призраки лебедей, и казалось, что они плывут прямо по поверхности черной бездны, пока вдруг не вспыхивал, обнаруживая водную гладь, серебристый отблеск фонарей или брызг от неслышно работающих лапками птиц.

Самих же перепончатых желтых лапок не было видно — так они неустанно перебирали, перемешивали теплую черную субстанцию, чтобы та не остыла, загустев словно желе.

Мы не клялись в любви друг к другу, но в этот вечер мы друг друга любили. И чем дальше шел наш разговор, тем больше нам казалось, что мы созданы друг для друга, и чтобы устранить ту жизнь, в которой мы наверняка не будем вместе, я заказывал еще вина, и вежливый официант с отменным артистизмом вновь наполнял наши бокалы.

О, музыка, чудо-музыка, ничто не сравнится с тобой — одна ты владеешь нашей тайной, тайной нашего сердца, тем тонким миром, который ведь никак иначе и не обозначить, как только мелодией. Что же ты обещаешь нам, чем морочишь нам голову, зачем смущаешь наши души?! Ведь уже проверено, что того, что ты внушаешь, на свете нет. И если даже есть, то мы не в силах увидеть, войти, объять и быть объятым — потому что все это существует в другом измерении. Но вот беда — не можем мы обойтись без этого другого измерения, не можем, да и все тут! Что-то нужно нам, то, что не имеем и иметь не можем. Но нужно, как хлеб. Это и есть хлеб — хлеб души. Мечта, надежда, глупость мечты, дурость надежды. Словно мы жители двух миров, а может, и трех, и только благодаря этому мосту из звуков, слагающих мелодию, можно попасть в тот, другой, мир. И хорошо бы не возвращаться, или хотя бы поменять миры — чтобы из того, прекрасного, тонкого, иногда, для контраста и обновления чувств, заглядывать в этот — жестокий и грубый. Вот и Египет оказался для меня таким тонким миром, уже два месяца я живу в другой реальности, и чтобы быть счастливым окончательно и бесповоротно, я привел в него женщину. В том мире у нее были муж и ребенок, рыженькая девочка двух лет, а в этом мире у нее есть только я один.

Тем временем европейская музыка смолкла, на маленькой чуть приподнятой сцене появились новые музыканты — в галабеях, с щипковыми, струнными и ударными инструментами, расселись в кружок, ударили в бубен и запиликали, забренчали, застонали, и выбежала знаменитая Заки, в ту пору одна из лучших в Египте исполнительниц танца живота, и, как говорят, самая богатая женщина Каира. Танец живота в эпоху насеровского строительства социализма — а ведь так пропаганда и утверждала — танец этот пострадал от цензуры и стал чуть ли не целомудренным, хотя истинная его природа как раз и заключалась в том, чтобы выражать желание, и, выражая, разжигать его.

Заки была полноватой соответственно арабским канонам

женской красоты, у нее было круглое лицо, чуть приплюснутый нос с резкими крыльями ноздрей, что придавало страстность ее лицу, и прекрасные волосы, длинные и тончайшие, льющиеся как черный водопад. Она была босиком, в лифе и трусиках, но вместе с тем тело ее свободно облегал тонкий прозрачный шелк, а точнее — газ. Шаровары ее с бахромой, падающей на полные, но стройные бедра, были из такого же газа. Она была хороша, особенно ее воздетые полные руки, и бедра ее, которыми она встречала, как бы ловила, каждый падающий удар бубна. Танец живота — это танец волн, их чередование, прибой и отбой, когда вслед идущая сшибается с той, что уже прянула вспять… Но это только начало, потому что нет предела прихотливости ритмов, в которых женское соединяется с мужским. Мужское — это бубен, он повелитель и халиф, он приказывает, он ведет — и бедра послушно отзываются на каждый выпад-удар, но вот они замышляют бунт, непокорные, — пропускают атакующие удары, сначала каждый второй, а потом и несколько кряду, капризничают, то откликаясь, то нет, словно накапливают энергию, которая вдруг разряжает себя в ответной бисерной дрожи…

Пора-пора, сколько я тебе должен, уважаемый, да, нам понравилось, ну, конечно, мы непременно сюда еще придем, мы будем приходить каждый день, нет, каждый не получится, потому что я дежурю в Гюшах, а на выходные приезжает ее муж. Да, кстати, зачем ты вышла замуж, выходи лучше за меня, хорошо, я выйду за тебя, куда ты меня ведешь, милый, я веду тебя в сад, где благоухают ночные цветы, и плавают ночные лебеди, где цветет огневым цветом акация, недаром ее здесь зовут на французский лад «фламбойант», где я сам как в огне, иди ко мне, дай обнять тебя, губы твои, как рахат-лукум, и маленькие груди твои с заострившимися сосками, как два послушных птенца.

Желание было таким пронзительным, что тут же на садовой дорожке, в тени ночных кустов и деревьев, я снял с нее трусики. Они были такие маленькие, что даже на ладони им было просторно. Я уже положил их в карман, но еще смаковал в памяти, как она легко оперлась на меня и послушно, без слов, вынула из них сначала одну ногу в туфельке, затем другую. Теперь ничто не разделяло нас, кроме ее короткой юбочки из мягкой замши. И, поцеловав ее горячее бедро у изножия и встав с колен, я уже начал уверенно поднимать эту юбочку, как вдруг сбоку от нас, в сплошной почти темноте, возник силуэт арабского человека с длинной палкой, и этот силуэт на плохом английском сказал нам:

— Здесь вам нельзя, мистер и мисс. Идите домой, там можно.

— Спасибо за совет, — хмыкнул я, нимало не смутившись, — до того ли было! — обнял за плечи свою послушную подругу, и мы пошли по дорожке к выходу.

Когда он успел нас засечь? Они теперь шныряют по всему саду, шпионят, блюдут. Какого рожна им надо? Напоят, станцуют животом, а потом — низзя, мущмумкен! А где можно? Завели бы кабинеты, что ли…

Я остановил такси, и мы сели.

— Наср-Сити итнын, — сказал я таксисту. Он послушно, чуть наискось, кивнул, и мы поехали. Во мне звучала музыка — то ли бубнов со смычковыми, то ли битлов со щипковыми, и еще я думал, что вот она, моя милая, так и едет без трусиков, а между тем не такой уж теплый вечер, и кожа сидения холодна.

Возле поворота к Наср-Сити я велел таксисту повернуть направо:

— Дильвати йамин.

Его лысина озадачилась, и он обернулся, удивленно вынув правую кисть, щепоткой пальцев вверх:

— Там ничего нет, мистер… Вон Наср-Сити…

— Направо, — сказал я. — Лязем! — То есть, надо.

Он положил руки на руль и в полном недоумении свернул направо, на пустынную дорогу, по которой я ездил на дежурства в Гюши.

— Истанна! Стой! — сказал я возле недостроенного стадиона.

— Ле? Почему? — спросил он, полагая, что я не ведаю, что говорю.

— Истанна! Халас! Все, приехали! — сказал я и протянул ему деньги.

— Что ты придумал? — спросила Ольга, впрочем, готовно вылезая за мной.

— Так нужно, — сказал я.

Шофер постоял на всякий случай, светя в темноте салоном и фарами, словно поджидая, не взбредет ли мне в голову еще какая-нибудь идея, а затем медленно поехал вперед — одинокая машина на пустынном ночном шоссе, где слева под звездным небом темнела чаша недостроенного стадиона, а справа виднелись еще какие-то спортивные сооружения, вроде трибун теннисного корта. Я обнял подругу за плечи и повел ее направо. За трибунами, с тыльной стороны, была довольно большая зеленая поляна, отгороженная от них кустами. Середина поляны была залита водой — вода блестела в лунном свете. Огромную лужу облюбовали лягушки, и оттуда доносился их дружный хор. Лягушки не только квакали, но и пели сопрановыми голосами.

— Куда ты меня ведешь? — беспечно спросила подруга,

поспешая рядом спортивной подпрыгивающей походкой.

— К тебе же нельзя, — сказал я, зная, что там дежурит ее приятельница, на которую она оставила свою дочку. Чтобы было веселее, подруга должна была привести и своего ребенка.

— И что мы будем здесь делать?

— На звезды смотреть, — сказал я. — По очереди.

— Почему не вместе?

Я нашел у кустов укромное сухое местечко с мягкой травой-муравой, скинул куртку и, обняв свою подругу, хотел опустить ее на землю.

— Я сама, — сказала она и присобрала юбку на бедрах, так что заголились ее красивые свежие сильные ноги, ноги двадцатисемилетней женщины, почти моей ровесницы, учившейся в школе всего на один класс старше, чем я, — она присобрала юбку на бедрах и, торопливо глянув через плечо вниз, для точности, аккуратно вписала свой прохладный гладкий задок в шагреневое поле моей куртки.

В моей подруге была какая-то удивленная готовность, словно хотя все это и было ей до мурашек внове, ее неумолимо тянуло вперед, как путешественника или ныряльщика за губками или жемчужинами. Ей хотелось туда, где она еще не была. Видимо она была Стрельцом по знаку зодиака. Или просто она была спортсменкой и привыкла принимать мяч, посланный в ее сторону. Это был игровой азарт.

Переполненный желанием, я расстегнул брюки — уверенность я черпал в ней, ничуть не сомневаясь в своих действиях, и сразу же погрузился в горячее, упругое, влажное, готовно отвечающее, без всех этих мелких женских ухищрений и заморочек, — отвечающее открыто и простодушно, как отвечают, когда испытывают наслаждение. Открытие этого радостного животного партнерства пронеслось над моей головой ночной молчаливой птицей, и я впился в губы подруги, просовывая язык между ее зубами, чередуя его погружение во влажную полость рта с другим погружением, радуясь силе и молодости наших тел, соединенных теперь как бы по их собственной воле, будто наша роль была лишь в том, чтобы свести их, соединить, а потом уж они сами… Неподалеку в огромной непросыхающей луже, похожей скорее на прудик, сладострастно верещали лягушки, занимаясь тем же самым, что и мы, только в полный голос, мы же молчали, обмениваясь только дыханием, и по ее дыханию я понимал, что она чувствует, как она — по моему. И еще я помнил, что нас освещает луна, и в помощь ей светят все звезды. И хотя трава суха, видимо, брюки у меня на коленях слегка позеленеют, но снять их совсем в тот момент мне почему-то показалось

нелепым. Да и вообще я, кажется, впервые в жизни я лежал между коленей, поднятых не к потолку, а к звездному небу.

И вот, в этот момент полной гармонии со своей подругой, с природой и даже с лягушачьим братством, я услышал шаги — как бы хлопки плотной материи по лодыжкам, или сандалий — по пяткам, и, прервав поцелуй, поднял голову и глянул перед собой над запрокинутым лицом своей любимой, полагая, что такое невозможно, и что мне просто послышалось. Но мне не послышалось — в пяти шагах от себя я увидел фигуры двух человек, спешащих к нам. Видимо, из меня вырвалось какое-то слово — испуга, брани или проклятия — я его не помню. Помню только, что мы стремительно разъединились, распались на две отдельные особи, на два начала, мужское и женское, инь и ян, и вот уже два араба стояли над нами, заслоняя собой небо со звездами, а мы сидели на траве, ибо состояние нашей одежды не позволяло нам встать, хотя, слава аллаху, вид сверху у нас был вполне пристойным.

Черт, полиция! Проклятый таксист — его, стукача, работа.

— Что вы здесь делаете? — спросил по-арабски один из арабов, он был в галабее с длинной палкой в руке. Второй полицейский был в форме.

— Отдыхаем, — сказал я как можно беспечнее. Терять мне или нам было нечего. Сейчас нас отведут в полицию, выяснят, кто мы такие, позвонят в посольство и выдворят из Египта в двадцать четыре часа. Впрочем, я не знал, в какой фазе нас застукали — в лежащей или уже в сидящей. Моя любимая так стремительно изменила свою позу, как возможно только в миг смертельной опасности.

— Кто вы такие — немцы, русские, чехи? — спросил араб, держа палку наготове, чтобы выглядеть внушительно.

— Чехи, — сказал я, мгновенно решив, что на установление арабами разности наших славянских языков я выиграю какое-то время.

— И мадам чехи?

— Чехи, — кивнул я, как бы оговаривая таким образом наши чешские права, не вписывающиеся в местные законы.

— Здесь нельзя находиться, — сказал араб.

— Почему? — простодушно удивился я. Сам факт того, что вместо того чтобы действовать, полиция ввязалась в разговор, меня несколько ободрил. Да и вообще пора бы им знать, что для нас, чехов, целоваться на природе, пусть даже в лежачем положении, это в порядке вещей. Мы все-таки не мусульмане. У нас нет шариата. И никто в полиции не докажет, что мы занимались каким-то непотребством.

— Потому что вы нарушили законы, — сказал араб. — Где вы живете?

— В Гелиополисе, — сказал я, потому что в Наср-Сити мне чехи не попадались.

Надо сказать, что невыгодность своего положения сидящего рядом со стоящим, которое я не мог изменить, не надев предварительно брюк, я инстинктивно старался чем-то компенсировать. За эти два месяца я все-таки привык к своему несколько привилегированному положению в арабском мире бедности, как бы положению среднего буржуа, эфенди, и нотки человека, знающего свои права, прорывались в моем голосе, а некоторое присущее мне от природы высокомерие, пусть на самом деле оно и было лишь защитной маской, так вот высокомерие это как бы настаивало на том, что я и полицейские — мы стоим на разных ступеньках социальной лестницы. И — я это чутко уловил — полицейские признали сей факт. Во всяком случае, они были не слишком решительны. Разговор наш длился и был похож на словесную перепалку, в которой каждая сторона настаивает на законности своих притязаний. И складывалась картина, когда подвыпившие супруги чешской национальности решили ради экзотики развлечься не в собственной постели, а на природе в укромном уголке, и теперь не очень врубались в то, что от них хотят представители местной власти. Но полицейские были настроены серьезно, и казалось, что египетская судьба наша висит на волоске.

— Сейчас мы отведем в участок, — сказал араб, с палкой в руке, в то время как второй, в форме, продолжал хранить молчание.

— Пожалуйста, — пожал я плечами, с видом, что там-то как раз и разрешится данное недоразумение.

Арабы стояли над нами выжидаючи.

— Тогда отойдите немного, — сказал я, — мадам должна привести себя в порядок. Словами этими я признавал, чем мы тут занимались, но у меня не было выбора.

Арабы переглянулись, перекинулись парой фраз и отошли на несколько шагов, оказавшись за кустом, из-за которого я видел только их головы.

Собственно, моей милой нечего было приводить в порядок, она только оправила юбку, и тем же движением поправила волосы, а я застегнул молнию на ширинке, затянул брючный ремень, надел распяленную на земле куртку, на которой уже выветрилось тепло ягодиц моей милой.

Я глянул в сторону арабов — они тихо переговаривались между собой, полностью отвернувшись от нас.

И вдруг я почувствовал, что у нас есть шанс:

— Беги! — шепнул я Ольге, и она, тотчас поняв меня, кивнула, мгновенно сняла с себя лодочки на тонких каблуках и, ступив за зеленую ограду кустов, стремительно, как молодая лань, припустила в сторону шоссе. Страх и жажда жизни были в ее легком почти неслышном беге.

Я помедлил секунду, смиренно поджидая своих полицейских, но они еще не обернулись ко мне, видимо, полагая, что на приведение себя в порядок у нас уйдет больше времени. И голос во мне тихо, для меня одного крикнул: «Что же ты стоишь?! Сам беги!» И я побежал. Ночной воздух ударил мне в лицо, и я почувствовал, что им меня не догнать, как не догнать им и моей милой. Так мы и бежали вдоль живой изгороди кустарника, по разные его стороны, слыша друг друга.

— Быстрей! — призывал я милую, и она бежала быстрей.

Кустарник, разделяющий нас, кончился, и я схватил ее за руку, увлекая к полотну шоссе. Мы поднялись на него, пересекли и, спустившись в небольшой ров, побежали по той стороне, уже невидимые для глаз полицейских.

Только теперь мы осознали, что нас никто не преследует, и на бегу, еще судорожно держась за руки, расхохотались.

Почти три месяца я буду ходить к ней по ночам, и мы будем ненасытно предаваться любви.

Часть 3

Мой срок в Хургаде, без малого два месяца, подошел к концу — сентябрь, пора домой, в Каир. Приехал мой сменщик, разворотистый моторный хлопец Бунчиков, коллекционер смятых в комки бумажек под своей кроватью, быстрые мозги и стремительная речь, за которой я едва успеваю. Он нервничает и хорохорится одновременно — привыкший первенствовать, он ни за что не покажет, что ему страшно. Собственно говоря, если бы не жара, я бы еще остался. Но плюс сорок пять по Цельсию — это слишком. Если бы не жара и более чем скудное питание.

Да, проблема питания имеет место.

— Ничего — говорю, — будешь рыбу ловить…

— Рыбу? — вытягивается лицо у Бунчикова. — Что, так серьезно?

Если хочешь быть суперменом, думаю я, тут тебе все условия….

Я уезжаю, даже не успев попрощаться с капитаном Ахмедом и майором Закиром. В Каир ходит только один автобус в сутки, в семь утра, когда на дороге еще можно дышать. Автобус обычный, гражданский, рейсовый, и из военных — я один, если, конечно, меня можно считать военным. Я решил быть в форме — так сразу всем понятно, кто я такой, и безопасней. Как никак человек приехал из далекой страны вечных снегов и медведей, чтобы помочь арабам в их правом деле. Обычно в цивильной обстановке я никому не говорю, что я переводчик-мутаргим. Это здесь не понимают. Переводчик — это не специальность, не профессия. Каждый культурный человек, помимо своего, должен как минимум знать еще какой-то язык… Меня спрашивают о моей специальности. Объяснять, что я пытаюсь переводить художественную литературу, поэзию? Уж лучше говорить, что я учитель.

Я устраиваюсь поудобней, справа от водителя, где из-за неплотно закрытой передней дверцы — встречный ветерок, и можно беспрепятственно смотреть вперед на бесконечную ленту дороги. Ехать далеко, километров четыреста, восемь часов пути по раскаленному шоссе, — справа море, слева — горы, без малейшего намека на растительность, лишь измученные пеклом голые растрескавшиеся камни. Каждые два часа остановка и снова в путь А что если Ольга вернулась из Танты. Говорила, что будет наезжать. Даже квартиру им оставили… И сегодня ночью, если мужа ее нет, я снова поднимусь к ней, и мы будем вместе, и я буду ее любить, и она будет извиваться подо мной своим гибким

телом, чтобы не упустить ничего из того, что я могу дать ей, — жажду четырех разлучных мксяцев.

Проехали Рас-Гариб — полпути позади. Ольга, Ольга… я опускаю веки, они дрожат у меня от любви и нежности, а когда открываю их, то вижу впереди в метрах ста от автобуса танк. Он на всем ходу появляется из-за поворота и идет прямо на нас посредине шоссе, как бы зная, что мы ему должны уступить дорогу, и водитель, отчаянно затормозив, дает право руля и прижимается к обочине. Но танк дает лево руля и продолжает двигаться на нас, будто решив попугать. Я слышу какой-то сухой треск и спустя мгновение понимаю, что это пулеметная очередь. Видимо, это патруль по какой-то причине недовольный маневром нашего автобуса. Проверка документов? Все, кто был в автобусе, вдруг разом начинают кричать, указывая на танк. И это крик ужаса. Глянув еще раз, я вижу на броне танка израильский магендоид. Трофейный танк? Но почему все так страшно кричат, а кто-то молится, поминая аллаха? И тут меня словно электрическим током пробивает — израильтяне! На нашей стороне! Не сбавляя скорости, танк приближается, лязгая гусеницами по асфальту, и резко останавливается в метрах двадцати от нас, клюнув стволом и подняв облако желтой пыли, которую тут же сносит морским ветром через дорогу… Ствол его пушки смотрит прямо в наше лобовое стекло. Сейчас выстрел, и больше меня не будет — опережая страх, мелькает последняя мысль. Но как же так, так нельзя, это невозможно, при чем тут я? Это следующая мысль, потому что выстрела еще нет, и я еще жив. Десяток рук машет из окошек автобуса белыми и не белыми платками, тряпками…Вопли, стоны, что это? Это мы сдаемся на милость победителя. Мы, гордые арабы, от каждого из которых я хотя бы раз, но слышал, как он вернет Синай и выпьет вина победы или крови, если вина нельзя, из черепа врага…. Но танк медлит, словно смакуя наше унижение, предсмертную агонию наших мыслей…Я слышу какие-то арабские слова из громкоговорителя на танке. Я не понимаю этих слов, но наш водитель, судя по всему, их понимает, — по его лицу, темному, как маслина, но теперь ставшему зеленым, как оливка, струится пот, высунувшись из окна кабины, он кричит что-то в ответ, указательный палец его левой руки тычет через его плечо в направлении салона, и я почему-то понимаю, что он указывает на меня. Я тут единственный военный, русский, советский хабир. Затем водитель поворачивается ко мне, открывает передо мной переднюю дверь и кричит «Алатуль». И хор арабских голосов повторяет за ним: «Алатуль! Алатуль!» То есть мне предлагают выйти и самому разбираться с тем, к чему все остальные, мирные

жители Хургады, не имеют никакого отношения. Дрожа от копчика до макушки, выскакивает догадка, что стороны просто нуждаются в моих переводческих услугах, как-никак я говорю на английском, языке международных конвенций. Восприятие моей работает странно — картина происходящего целиком не укладывается в моей голове, и я вижу лишь дискретные кадры, вырванные из чего-то общего и страшного, что мне недоступно. Нет, никакого посредничества не требуется. Теперь я уже окончательно понимаю, о чем спросил танк — есть ли в автобусе военные, и все указали на меня. Правда, я без погон и знаков отличия, но явно не турист. Про туристов тут забыли.

Танк смотрит на меня — разглядывает в оптику прицела.

— Ты арабский офицер? — слышен жесткий вопрос по-арабски.

— Я русский переводчик, — на плохом арабском отвечаю я. Это может произнести любой русскоязычный человек: Ана руси мутаргим, и повторяю на английском — I am Russian interpreter. — Этот мой английский, как соломинка, за которую я цепляюсь…Не скажу, что мне страшно, что я испугался — для этого нужно какое-то человеческое измерение. Но я вне его, в ситуации абсурда, того, чего не может быть. Возможно, это называется шоком, или лунатизмом, я стою на краю карниза, сам того не осознавая… И если я сейчас погибну, то даже не замечу этого.

— Русский переводчик? — неожиданно, как голос бога, слышу я русский язык. Или это слуховая галлюцинация?

— Да, я русский переводчик, — отвечаю я по-русски и снова добавляю по-английски: «I am Russian», — начиная чувствовать, что именно в этом магическом слове «русский» заключено мое спасение.

Громкоговоритель некоторое время молчит — я слышу только фон внутри танка, приглушенный гул мотора и какие-то отдельные слова на иврите, будто говорят по рации. Да, где-то там консультируются, решая мою судьбу. Еще недавно я хотел умереть. Нет, я хочу жить! Никогда еще я так не хотел жить, как в минуту той паузы. Затем в громкоговорителе зашуршало, и тот же голос по-русски сказал:

— Садитесь в автобус и уезжайте. И передайте своим русским, чтобы убирались в Москву. Вам тут нечего делать..

— Хорошо, я передам, — киваю я, разворачиваюсь на месте, как после получения приказа, и иду к автобусу, откуда смотрит на меня два десятка окаменевших лиц. Какую весть я им несу? Я встаю на ступеньку, захожу внутрь и говорю водителю: «Поехали! Израиль говорит — можно ехать. Мумкин».

— Нет огонь? — переходит на мой уровень арабского водитель, переводя взгляд с меня на танк за лобовым стеклом. Он боится, что я мог что-то не понять. С него льет пот.

— Нет, — говорю я. — Мафиш огонь. Можно ехать Каир.

— Айуа! — сверху вниз делает водитель полукруг головой, арабский жест абсолютного согласия, и так жмет на газ, что колеса автобуса, с визгом прокрутившись в обочинном щебне с песком, выносят нас на середину шоссе. В автобусе дружный вздох облегчения. Все всё поняли. И я все понял. Они меня предали, сдали на растерзание. А я их спас. Теперь они должны на меня молиться до конца своих дней…

Но героем я себя не чувствую. Глаза мои сами по себе закрываются, мне не удержать веки. Господи, как я устал.

Автобус несется, а нервишки тормозят… На выбоине так встряхивает, что я в страхе открываю глаза — выстрел? Нет… Просто дорога разбита. Тут и там на ней дымятся простеленные или раздавленные легковушки и грузовики. Не видно, остались ли в них люди. Некоторые автомобили под гусеницами танка превратились в груды мятого железа. Может, люди успели сбежать и прячутся теперь в складках растрескавшихся гор? Больше на шоссе нам никто не попадается — ни души, только разбитая техника, тут и там, да еще со стороны моря, с побережья, где дислоцированы воинские части, что-то скупо дымит, догорая в ослепительном свете дня. Дорога — это кладбище, мы несемся мимо его железных могил без малейшего намерения кому-то помочь, кого-то спасти. Вцепившись в руль, выпучив глаза, водитель мчится к Каиру. Но где наши? Где наша авиация, танки, бронетранспортеры, где наши зенитки, пулеметы, береговая охрана, локаторы, военные катера? Куда все делось, куда все разбежались, как в сказке Чуковского про таракана? Что, не справиться с одним танком? Или тут не один танк?

На следующий день устно перевожу на командном пункте ПВО полковнику Тарасову официальное сообщение для нас: «Вечером 9 сентября израильтяне предприняли операцию на египетской территории с использованием морских, воздушных и сухопутных, в том числе танковых, сил. Под покровом темноты израильские войска высадились с самоходных паромов на западный берег Суэцкого залива и прошли около 50 километров, разрушая сторожевые посты и военные сооружения, в том числе ракетные установки СА-2. Ударный отряд ни разу не вошел в соприкосновение с египетскими силами и в середине следующего дня, то есть 10 сентября, отступил со всем своим снаряжением на свою территорию».

То, что противник отступил, избежав боя с египетскими

силами, подается как признак нашей мощи. Однако из неофициальных источников уже известно, что все просто побросали оружие и разбежались, кто куда. Число погибших не называлось. А еще выяснилось, что утром, зная о моем следовании в Каир, из штаба звонили Коломейцу, чтобы предупредить об израильской диверсии, но я уже был два часа как в пути…И пока я не объявился собственной персоной, в списках живых я едва ли значился.

Неделю я ходил в героях, как-никак спас не только себя, но и целый автобус ни в чем не повинных мирных арабов. Там же был 21 человек, включая водителя, — очко, счастливое число. Я был двадцать вторым…А потом меня вызывали в спецотдел, или как это там у нас называется — контрразведка, внешняя разведка нашей агентуры с территории дружественных стран, военная разведка… Нашего особиста я видел впервые, хотя по роду службы околачивался и штабе ПВО, и на командном пункте в Гюшах. Особист принял меня с оживлением в бровях и во взгляде, как если бы нетерпеливо ждал нашей встречи, чтобы выразить мне свое восхищение. Может, и медаль дадут? — суетно подумал я в первую минуту. А что? За какое-нибудь там мужество и военную доблесть? Как будто я не презирал еще недавно всяческие награды.

— Расскажите, как же все-таки это было на самом деле? — выйдя из-за своего стола, порывисто поздоровался он со мной и сел рядом, подчеркивая неформально-доверительный характер нашей беседы. В его повадке читались пройденные уроки психобработки клиента. — Ведь согласитесь — это же, пардон, не жук накакал: вот так стоять перед танком и разговаривать. «Жук накакал» — это и был психологический прием, чтобы я расслабился, почувствовал себя в своей тарелке. Я готовно ухмыльнулся — пусть он считает себя хозяином положения, каковым и без своих дешевых заготовок несомненно являлся.

— Ничего особенного не было, — сказал я. — Просто командира танка интересовало, есть ли в автобусе военные, и водитель указал на меня.

— И вы подтвердили, что вы военный, — сказал особист, посмотрев на меня так, словно всеми фибрами души ожидал от меня положительного ответа.

— Конечно, — сказал я. — Тем более что на мне была военная форма.

Я думал, что особист посмеется и одобрительно похлопает меня по плечу, но он вдруг нахмурился и, встав со стула, заходил по кабинету, заложив руки за спину.

— Напрасно, — сказал он..

Мне стало не по себе. Я молчал и выдерживал паузу. Я знал психологическую силу паузы и не хотел чувствовать себя виноватым. Наконец особист повернулся ко мне, и я увидел в его невыразительном, каком-то ускользающем лице человека, старающегося остаться незаметным в толпе, огромное желание придать подозрительную значимость тому, что произошло со мной, расшифровать произошедшее с какой-то особой, недоступной рядовому разуму стороны. Я вдруг осознал, что ему просто нечем здесь заниматься, как только следить за своими, что он изнывает от безделья и вот теперь рапортом в Москву готов обозначить свою важность и оправдать свое пребывание здесь.

— Очень напрасно, — повторил он.

— Я бы ничего не сказал, если бы меня не спрашивали, — уточнил я на всякий случай. — А если бы нас раздавили или расстреляли, как другие машины?

— Вы считаете, что вас не тронули, потому что вы русский?

— Скорее всего, — сказал я.

— Вы ведь, вроде, общались по-русски? — вскинул он брови, как если бы этот вопрос наглухо припирал меня к стенке.

— Да, сначала я ответил ему по-арабски, а потом по-русски и по-английски.

— И он вам сказал? — брови снова пошли вверх.

— Он сказал, чтобы я передал своим…

— Чтобы русские убирались в Москву! — закончил за меня особист, демонстрируя свою осведомленность.

— Да, — сказал я.

— И вы передали всем эту фразу…

— Да, передал.

— Кому именно?

— Ну, с кем я работаю.

— Зачем?

— Просто так. Я не придал ей особого значения. Это даже смешно…

— А нам не смешно! — остановился поодаль особист, больше не желавший поддерживать дистанцию абсолютной доверительности. — Нам совсем не смешно.

Я не стал спрашивать, кому это «нам». Я молчал, пытаясь сообразить, куда он клонит.

— Вы понимаете, что разгласили государственную тайну?

— Какую тайну?

— Сами подумайте.

— Никакой тайны я не разглашал.

— Тайну, что вы советский офицер. Тайну своего пребывания на территории противника Израиля. Тайну нашей военной

помощи дружественной нам стране.

— Какая же это тайна — сказал я. — Об этом и так всем известно, в египетских газетах можно прочесть.

— Молодой человек! — остановился передо мной особист, — товарищ лейтенант! — и в голосе ее зазвучал металл. — Местные газеты могут писать о чем угодно. Но газета «Правда» об этом не пишет. Вы тут находитесь в составе группы военных советников, осуществляющих миссию подготовки и поддержки вооруженных сил дружественной нам арабской страны. И все, что относится к военному ведомству, является секретом для противника, военной тайной. И решение Политбюро ЦК КПСС на этот счет — оно тоже секретное. Понятно?

— Понятно, — сказал я. Вот оно как повернулось… Теперь меня скорее всего вышлют отсюда. Вот тебе и медаль за личное мужество.

— Но у меня не было выбора, — сказал я.

— Выбор всегда есть, молодой человек.

— Вы бы предпочли, чтобы меня расстреляли или взяли в плен? — усмехнулся я, решив, что терять мне больше нечего и мысленно уже прощаясь с Египтом.

— Ну-ну, полегче, — чуть сбавил тон особист. — Что я предпочитаю, о том будет доложено в Москву. — А пока вы свободны.

На этом наш разговор окончился. Я ждал решения из Москвы, но так и не дождался. Пронесло. А может, то, что больше я не вернулся по контракту в Египет, и было тем самым решением…

* * *

Я прихожу к ней заполночь. Для этого мне нужно преодолеть два кордона — две дежурки в двух домах, нашем и лэповском. Да, нас охраняют, уж не знаю, от кого — от израильских коммандос, что ли? — но охраняют. И это нас устраивает, в частности и меня, кроме как в таких вот случаях, как сейчас. Внизу, как в родной студенческой общаге, в коморке дежурного горит свет — сам он увлеченно говорит по телефону и мне удается незаметно выскользнуть из дома. Между нашими домами метров пятьдесят — миновав это расстояние, я оказываюсь с тыльной стороны дома лэповцев, то есть спецов, тянущих высоковольтную линию электропередач от Асуана. Подъезд, как и у нас, огорожен временной кирпичной кладкой — многие дома в Каире окружены барьерами из мешков с песком, откуда подчас торчит дуло пулемета, но здесь — просто двухметровая стенка, которую я

вполне могу одолеть. Что я и делаю, стараясь не запачкаться, поскольку на мне белая рубашка, не лучший камуфляж. Одолев стену, я оказываюсь уже за дежуркой, стекла которой смотрят на вход, и с замирающим от волнения сердцем, неслышными шагами пантеры устремляюсь на заветный шестой этаж. Лифт не вызываю — он может только выдать меня… На шестом, стараясь унять дыхание и умерить удары сердца, тихо скребусь в дверь. Ни стук, ни звонок невозможны — на лестничную площадку выходят еще три двери, и за каждой из них может оказаться наш разоблачитель и стукач… Она сразу открывает мне, потому что ждет. Она знает, когда я приду, и стоит за дверью. На ней халат, а под ним на ней ничего. Едва она закрывает за мной, как я обнимаю ее, прижимаю к себе, впитывая сквозь шелк халата ее горячую гибкую наготу, опускаю голову ей на плечо, глажу щекой ее шею, вбираю в себя воздушный запах ее вымытых рассыпающихся волос. Она послушно замирает, положив ладони мне на грудь, как бы вымеряя кончиками пальцев уровень моего волнения, а потом я нахожу ее губы, и когда мы целуемся, она прижимается ко мне низом живота, замыкая цепь двух наших желаний, и я ощущаю ее лобок, ее сильные бедра, и эта простодушная открытость ее чувства опять пронзает меня. Просто любить, без всяких там почему, зачем и видов на будущее, — любить, потому что любится — такого, кажется, еще никогда не было в моей жизни.

Она вспыхивала как порох и не нуждалась в предварительных ласках. «Скорей, скорей, не могу больше терпеть» — вот ее рефрен. Взяв за руку, вела в спальню — дочка спала в соседней комнате — одним движением скинув халат, ложилась навзничь, протягивая ко мне руки и раскрывая согнутые в коленях ноги, — оставалось только войти в эту купель бесхитростной телесной страсти, которую нам долго было не утолить, пока где-то под утро уже к десятому соединению наших тел, она не начинала заговариваться, чуть ли не в бреду, а потом, спохватившись, все же возвращалась в точку нашего свидания и со стыдливым смешком охолаживала себя: «Ой, мамочки, что это я…». Она была честной и равноправной партнершей, считая, что должна отвечать оргазмом на оргазм, и в конце, когда силы ее были на исходе, и мое вторжение уже не вызывало прежней высокой степени остроты, она, извиняясь, говорила «подожди, я сама», и держа одну руку на моей груди, словно с повелением «замри!», принималась раскачиваться надо мной, разыскивая в своих недрах еще неразбуженные потаенные уголки чувственности, и, двигаясь, как на тренажере, целенаправленно, с некоторой пыткой самоистязания ради поставленной цели, все же находила

опору, чтобы за несколько финальных вздрогов возвести на ней ослепительную арку оргазма, тут же истаивающую под стоны и слезы, и спазмы, словно сама земля, а скорее — весь мир или вселенная, уходили из-под ног…

— Так со мной еще никогда не было… — бормотала она потом, приткнувшись рядом, с мокрым от слез лицом. — Ты лучший в мире любовник.

«Любовник» — сонным монотонными эхом повторялось во мне ее слово — «любовник, любовник». Мне уже хотелось большего. Хотелось не только телесной радости, но душевного страдания, душевной боли. Мне хотелось чувствовать ее дальше, за тем пределом, когда все физические чувства были уже истощены. Но для душевного страдания не хватало материала. Он и не успел накопиться.

Что у нее там было с мужем — не знаю. Обычная, нормальная семья. Да и в постели она не имела к нему претензий. — только, невольно сравнивая, говорила, что столько раз, столько со мной, у нее с ним никогда не было. Немудрено. Семья все же. Секс они должны были ровно распределить на все годы своей благополучной совместной жизни… А я крал, я торопился, я брал, сколько мог унести за раз, так как прекрасно знал, что будущего у нас нет.

Часть 4

Мне нужен новый костюм, это актуально. Старый, из шерсти, отдан уборщику, а новый, из какой-нибудь легкой ткани, порой просто необходим. Есть такие ситуации, когда новых джинсов и нескольких новых сорочек мне явно недостаточно.

— Костюм ты здесь себе не купишь, — обрадовали меня мои коллеги, уже прожившие в Египте по году-два и знавшие здесь все и вся. — Сшей себе. Это недешево, зато сердито. Арабы шьют хорошо, по лекалам из итальянских журналов, по последней моде.

Один из бывалых переводчиков вызвался мне помочь — сходил со мной в лавку контрабандных тканей, где я выбрал себе нечто роскошное, серебристое, в почти невидимую полоску, модное и посейчас. А потом проводил меня к портному, который работал с утра до вечера, обшивая и наших переводчиков. Кстати, лишь они, молодые люди, щеголяли в легких современных костюмах, не в пример своим советникам, одетым в мешковатую отечественную продукцию.

Ателье мало чем отличалось от наших — такое же тесное, душное, заваленное выкройками, с манекенными бюстами, безглаво несущими на своих плечах сметанные на живую нитку образцы мужской моды 69-го года. Меня обмерили, оценили по достоинству купленный мной отрез «made in Italy», блескучий, как изнанка листьев эвкалиптов под солнечным ветром, похвалили и материал на подкладку и попросили деньги вперед. Вместе с материалом все это обходилось мне чуть ли не в половину моей месячной зарплаты, но правило есть правило, и я честно заплатил.

— Когда будет готово? — спросил я.

— Через неделю, — был мне ответ. — Первая примерка через три дня.

Такая оперативность окончательно примирила меня с резким похудением моего кошелька. У нас бы такой пошив занял месяца два-три, так что я покинул ателье довольный и удовлетворенный. Еще больше был доволен сопровождавший меня переводчик. Ему было приятно покровительствовать таким, как я, — это поднимало его в собственных глазах. Я поблагодарил его, угостив пивом в ближайшем кафе, и на прощанье он мне сказал:

— Теперь сам будешь ходить, я тебе не нужен. Адрес запомнил?

Не только запомнил, но и записал, как и имя портного, его звали Махди — пожилой низкорослый араб, лысый, бледный, как

бы навечно пришитый портновской иглой к этому затхлому помещению с голыми лампочками и бесконечным цикадным стрекотом столетней давности швейных машинок фирмы «Зингер».

Три дня не срок, и в назначенное время я снова был в ателье. Однако оказалось, что примерять еще не чего, так как заказ даже еще не раскроен, потому что нет нужных лекал.

— И когда теперь? — спросил я.

— Через неделю, — сказал мне утомленный больше прежнего Махди. — Через неделю, мистер, все будет, как надо.

Неделя прошла в разъездах по боевым позициям, когда я не снимал с себя полевой формы, — как же хочется потом переодеться в цивильное: в джинсы, новую пижонскую сорочку, переобуться в легкие мокасины на тонкой кожаной подошве, как радостно ехать потом в Каир, вдыхая воздух праздной гражданской жизни…

Однако в ателье моему появлению никто не обрадовался. Махди не было — простуда или того хуже — воспаление легких, а где мой заказ и в каком он состоянии никто, кроме закройщика Махди, не знал. Я хотел спросить у его помощников, молодых арабов за швейными, с ножным допотопным приводом, машинками, нашлись ли лекала, но забыл, как это будет по-арабски, и никто меня не понял, или не хотел понять. Когда я уходил, мне показалось, что на меня смотрят уже не так, как когда я платил за пошив, словно моя история уже закончилась.

Махди появился через три недели — выглядел он неважно, но глаза в запавших и еще более потемневших глазницах горели праведным огнем портновской чести, он клятвенно заверил меня, что через три дня примерка, и я поверил ему. И, как оказалось, не напрасно!

И вот я стою, поворачиваясь туда-сюда, перед большим, от пола, зеркалом, и Махди с булавками в черных сухих распашистых губах, обхаживает меня со всех сторон, обдергивает полы будущего пиджака, разглаживает плечи, где-то закалывает булавкой, где-то, выдернув нитку, наметывает заново…

— Куайс? Хорошо? — приспосабливает он последнюю булавку, чувствуя мой поднявшийся как на дрожжах тонус.

— Куайс кетир! — отвечаю я, надеясь, что похвала сработает в мою пользу. — Когда будет готово?

— Завтра! — почти хвастливо объявляет Махди.

— Не может быть! — говорю я. — Так не бывает.

— Бывает! — торжественно выпячивает впалую грудь Махди. — Быстро работаешь, больше получаешь. — Как будто это не он динамил меня уже второй месяц.

Но я, наивный, просто забыл, что завтра, то есть букра, обозначает вовсе не завтрашний день, букра — это даже не послезавтра, и не через неделю, букра может быть даже и никогда, потому что это целая философия отношения к миру, где все, что мешает беспечной сладости настоящей минуты, отправляется в букра… Этим словом здесь отмахиваются от насущных дел, как от назойливой мухи, — необходимость решать, предпринимать, думать, двигаться, заботиться, тревожиться оскорбляет исконное чувство покоя, отрывает от созерцания красоты вечности, — букра такое же универсальное средство защиты от суеты настоящего, как и иншаалла… А тут я, руси хабир, настырный мутаргим, с каким-то своим жалким костюмчиком.

Завтра, конечно, ничего хорошего меня не ждало, потому что Махди с озабоченным, но ничуть не виноватым выражением лица, полушепотом сообщил мне, что не успел, потому что получил заказ от другого очень важного мистера, которому костюм нужен не позже чем через три дня, а кроме него, Махди, никто в Каире не шьет костюмы за три дня, и костюм будет сшит, потому что важный мистер заплатил за скорость вдвое больше обычной цены… Если бы я заплатил столько же, то давно бы…

— Дудки, — сказал я, — это уже обдираловка и разводка. На это я не поведусь. — То есть я, конечно, иначе сказал, потому что не знал по-арабски таких слов, но Махди меня прекрасно понял и в ответ только развел руками, ладонями вверх. Классический жест святой непричастности и чистоты помыслов…

Не знаю, что там было дальше с важным мистером, но ни через неделю, ни через десять дней мой собственный костюм так и не был готов, и увидел я его на себе, точнее, только пиджак, еще спустя две недели. И вид это меня не очень обрадовал… На плечах и груди сидел он, вроде, ничего, но вниз от талии странно расширялся, будто расфуфыренный хвост токующего глухаря.

— Почему здесь так? — закачал я головой, обозначая ладонями расширяющуюся книгу трапецию. — Почему не прямо? — обозначая ладонями длинные стороны прямоугольника. — Вот мой пояс, мое бедро, — обозначал я анатомические подробности своей фигуры, — от талии прямо вниз, как у мужчины. Почему ты мне сделал здесь, как у женщины?

Махди отлично меня понял, хотя от возмущения я уже выражался непонятно на каком языке, однако, бледный и решительный, он не хотел мне уступать.

— Такая мода! — тыкал он желтым указательным пальцем с кривым ногтем в итальянский журнал мужской одежды. — Такое

лекало!

— К черту лекало! — говорил я. — Это пиджак для гомиков, чтобы задницей играть. А я не собираюсь играть своей задницей. Я нормальный мужик, черт побери, я баб факаю!

Наконец Махди понял, что ему меня не переубедить — оскорблено взял иглу с ниткой и с мукой послушания спросил:

— Где ушить, мистер, здесь?

— Да, — сказал я, склонив голову набок, как будто собирался сам отрихтовать клювом собственный хвост.

— Здесь? — зашел он с другого бока.

— Да, — сказал я.

— Но это уже не мода.

— К факам такую моду, — сказал я. — Короче, когда придти?

— Завтра, — сказал он. — Букра.

— Букра я не могу, — сказал я. — Через день после букра. А брюки? Когда будут брюки?

— Тоже через день после букра, — сказал Махди, с трудом переживший мой варварски наезд на современную моду и свое эстетическое кредо и так и не оттаявший, чтобы сопроводить мое отбытие улыбкой привета, которая у арабов всегда под рукой.

И, правда — через день после букра пиджак был готов. Теперь он сидел, как влитой, задний сомнительно откляченный распах исчез, и я стал настоящим мужчиной, мачо. Но брюки… когда я надел брюки, сердце мое упало прямо в них. Брюки были сшиты явно на другую корпулентность, а вдобавок еще — с мошной, то есть со слишком длинной ширинкой, делающей короче шаг. Такая просторная мошна сгодилась бы разве что для хозяйства осла — Махди мне явно польстил. И я начал ругаться.

— Смотри, — говорю, — брюки спадают.

— А пусть мистер возьмет брючный ремень и затянет, и брюки не будут спадать, — суетился рядом Махди.

— Нормальные брюки не спадают и без ремня. Как можно было шить без примерки?

— Но я снял с мистера размеры! — возражал Махди.

— Но это не мои размеры, — сказал я. — Ты меня с кем-то перепутал. У меня нет такого пуза, такой задницы и такой мошны. Ты должен перешить. Вот здесь… — собрал я штанины на боках, — вот здесь, — прихватил я пояс, — и вот здесь, — сгреб я мошну, висящую между ног…

— Айуа, мистер, — покорно закивал Махди с видом барана на закланию.

— Когда? — спросил я. — Брюки когда?

— Брюки через неделю, — сказал Махди.

— Почему через неделю? — возмутился я.

— Потому что брюки шьет другой портной, не я. А он уже сшил эти брюки и занят другими заказами.

— Но я заказывал тебе, — сказал я. — И платил тебе. И не знаю никого другого.

— У нас разделение труда, — сказал мне Махди. Его лысина покрылась испариной. — Я — пиджак. Другой портной — брюки…

— Передай ему, что он не умеет шить брюки, — сказал я.

— Айуа, мистер, — кивает Махди, уже не слушая меня. Похоже, я ему здорово надоел.

Спустя неделю — нет, там опять вышла какая-то накладка — через девять дней я снова, в пиджаке и брюках, стоял перед портновским зеркалом. На сей раз я выглядел гораздо лучше — брюки обрели наконец естественные для меня очертания и брючный пояс, застегнутый на крючок, удерживал на мне брюки и без ремня. Что и требовалось. Но мошна… она осталась прежней.

— А это что? — прихватил я себя между ног, чуть не покусившись на свою собственность. — Этого не должно быть. Мое хозяйство должно быть в левой брючине, а нижний шов должен быть между ягодицами, вплотную, а не висеть как торба с овсом на морде осла.

— Но это невозможно поправить! — сказал Махди.

— Ле? Почему? — спросил я.

— Потому что такое лекало, такая выкройка. Чтобы хозяйство мистера было в левой брючине, нужна другая выкройка, нужен новый материал. Пусть мистер купит новый отрез, и я сошью то, что мистер хочет.

— Но я тебе дал отрез и ты его испортил. Покупай сам и шей как нужно.

— Я не буду покупать отрез, — сказал Махди. — Я сделал все, как нужно. А мистеру ничего не нравится, у мистера плохой характер, мистер напрасно сюда пришел.

— Да, напрасно, — сказал я. — Отдавай мне мои деньги и делай с этим костюмом, что хочешь. Продавай, сам носи… Я его не беру.

— Я не могу отдать деньги, это мой труд. Я старался. Но мистеру ничего не нравится, мистер плохой человек, пусть он шьет себе костюм в другом месте.

Я молча снял пиджак, брюки, натянул джинсы — без штанов мои аргументы были бы не столь весомы — и сказал:

— Так… Или ты мне сейчас отдаешь деньги, или я вызываю полицию. — Я знал, что весь этот портновский труд с контрабандными материалами был делом полулегальным…

— Куайс кетир! Отлично! — Маленький Махди встал предо

мной, бледный и решительный, мокрый от пота, который пробивал его при нашем общении, а в ателье стало тихо — ни стрекота швейных машинок, ни голосов… — Отлично! Пусть мистер вызывает полицию. Пусть полиция придет и уведет этого скандального мистера куда надо.

И в этот момент я понял, что мне ничего хорошего не светит.

Я сгреб в охапку этот чертов костюм, сунул его подмышку, как тряпье, как барахло, которое стыдно держать в руках, и, чертыхнувшись, вышел из ателье.

К костюму я быстро привык, даже к своей брючной мошне, — ведь были годы, когда в моде были брюки именно такого покроя, их, кажется, называли оксфордовские, очень даже модные в двадцатые годы… Да и потом… Как я заметил, мода на мужские брюки колебалась лишь в четырех параметрах: узкие-широкие, с мошной-без мошны…

В этом костюме мне вскоре выпадает честь дежурить на приеме в советском посольстве в Каире в честь праздника 7 ноября, то есть 52-й годовщины Великой Октябрьской и так далее… Приглашены главы всех дружественных посольств и дипломатических миссий со своими женами и дамами, кроме того — многие знатные люди Египта, считающиеся нашими друзьями, а также генералитет египетской армии во главе с министром обороны генералом Фавзи, которого я узнаю лично, потому что он, этот суховатый стройный мужчина средних лет, легкой походкой проходя мимо, здоровается со мной — на лице его сдержанная улыбка избранного. «Машина господина такого-то» — слышу я. — «Господи и госпожа такие-то» — раздается у красивой решетки ворот….В огромном саду посольства накрыты столы, играет живая музыка, светят фонари, прием а ля фуршет. Нас же — переводчиков и стражей в одном лице, вдобавок к реальной охране, расставляют по периметру сада и по всем аллеям. Задача наша проста — жестами указывать прибывающим гостям путь к накрытым столам и сопровождать эти жесты вежливыми же репликами на арабском или английском, кто во что горазд, — ю ар уэлкэм, дамы и господа, а хам ду ля ля….

Неподалеку, наискосок, в поле зрения, но все же на недоступном расстоянии — красивые вечерние женщины в вечерних платьях, смех и запах дорогих сигарет и шампанского в высоких бокалах, группки возникают тут и там, как клумбы с экзотическими цветами, доносится аромат дорогих духов, дух красивой сладкой жизни, что-то такое на тему властей предержащих в голливудском широкоформатном цветном варианте. Вот и я на этом пиру избранных, то есть почти, совсем близко… Мы уже предупреждены, что после банкета нас тоже

ждет праздничный ужин, обильные угощения, которыми так славятся русские, где бы они ни устраивали пиры. Официальный прием постепенно сходит на нет. «Машину господина такого — то» — снова слышится у ворот. И вот уже возле столов никого, только арабы официанты, все в белом, только лица смуглы, стремительно убирают оставшееся, иногда с торопливой оглядкой поднося к губам фужер… Так и хочется крикнуть: «Мущмумкен! Это для нас!»

После четырехчасового дежурного стояния мы в предвкушении заслуженной трапезы — тем более что хочется чего-то исконно русского, изголодались по своей кухне, а ведь чего только не было на столах, все было, и еще икра, красная, паюсная, зернистая, давно мы не пробовали икры.

Однако когда мы собираемся внизу на служебном этаже в поварской, нас ждет конфуз. Наш здоровяк-повар, с лицом прохиндея и стукача, словно завербованный разведками всего мира, смотрит на нас как на голь перекатную и выносит на противне пирамиду жареных в масле постных пышек, то, видимо, к чему избалованные хорошей кухней гости так и не притронулись.

— Это все ваше, ребята, — говорит он нам без тени смущения.

А где все то, что еще минуту назад было на столах?

— Ничего не знаю, ребята, — говорит он нам, — вот ваши пышки. Лично и от души, специально для вас. Угощайтесь!

Глазки его весело и сторожко бегают, голос поставлен, движения уверены. Здесь он царь и бог.

Что называется — и я там был….по усам текло, а в рот не попало.

* * *

Ночь, мы едем на общевойсковые учения. Вместе с арабской армией, с ее штабом, ее офицерами, солдатами, ее военной техникой мы будем отрабатывать форсирование Суэцкого канала и наступление на Синае. Мы готовы к решающей битве, которая непременно состоится, и армия Египта непременно в ней победит. На «газике» мы обгоняем танки, бронетранспортеры, мощные грузовики со снарядами, зачехленные орудия — зенитки, артиллерию, свернутые в походное состояние средства радиолокации, ракетные установки на ходу — сдержанный могучий рокот, лязг, гул, запах солярки, брезента, металла… Как много тут всего, как крупно и значительно все это, каждый знает

свой маневр, каждый за месяцы тренировок овладел вверенной ему техникой, — это мы их научили, советники и переводчики, я еду в машине с Веденеиным, я чувствую себя участником большого и важного события. Учения проходят под большим секретом — израильтяне не должны о них знать, иначе могут совершить авианалет, и тогда бог знает что может получиться — что боевой дух египтян будет подорван, так это точно.

Не знаю, где мы находимся — судя по направлению на юго-запад, движемся к Эль-Файуму, где есть оазис… Это мне подсказывает небо, звездное небо, огромное, беспредельное, вечное, под которым испокон веков двигались армии, чтобы встречаться и силой решать вопрос — кто кого. Сила и власть, то есть власть силы определяет ход истории и ничто другое — ни наши желания, ни наши мечты и надежды, ни проблески какого-то иного света в нашем сознании, будто нашептывающего нам во сне, в забытье, в миг нашего бессилия или нашего озарения, что есть, есть что-то еще, кроме того, что мы принимаем за жизнь, за что даже порой проливаем кровь свою и недруга, есть что-то там впереди, и поэтому нельзя останавливаться, нужно идти на проблеск. Этот свет не снаружи, он внутри нас, с ним мы рождаемся, его потом мы теряем, чтобы далее всю жизнь пытаться вновь его обрести. Ведь сказано — не ищи бога, кроме как в себе самом…

Наконец мы в какой-то низменности с черными метелками пальм, а пальмы растут только в оазисах… Здесь останавливается штаб учений, а техника катит дальше. Мы с Веденеиным остаемся при штабе. Хотя арабам сегодня не до нас — мы просто добровольные наблюдатели, В одной из построек, дверь в которую заменяет полог, располагается генерал Каляуи со своим верным помощником, теперь уже не майором, а подполковником, Атефом. Мы топчемся рядом с ними, и, судя по всему, мешаем им. Сегодня проверяется их самостоятельность, оперативность и осведомленность — шпаргалки им не нужны. Когда начнется настоящая война, рядом не будет мистера Веденина с его вечной сдержанной улыбочкой наставника. Солдат налаживает связь, и генерал Каляуи начинает тихие деловые переговоры. Он многозначителен и самостоятелен. Только ему теперь принимать решения. Это его с Атефом война, его учения. а мы свое дело сделали, мы можем отдыхать — нас только из уважения взяли с собой. Да, здесь нас слушают только до определенной черты, а дальше — дальше нам напоминают, каких здесь цветов флаг над головой. Наши въедливость и настырность — родные дочери нашего сомнения в боеготовности арабов, что, понятное дело, не может не раздражать. Это их родина их любимый

многострадальный Misr, это они, когда мы отойдем в сторонку, будут защищать его от ненавистного врага.

Я борюсь с дремотой, она планирует на меня, как звездное небо, — мое сознание, мои мысли, словно звездная светящаяся пыльца в океане тьмы. Осенние прочерки метеоритов — это мои вопросы, тьма — это мое невежество, точнее — это мое неведомое мне бытие, как мало я осветил его, каждая мысль моя, каждая понятая мною идея — это всего лишь крупица света, крошечная корпускула, а вокруг остается столько темного или затемненного, и даже Млечный путь, то есть наше обыденное сознание сквозь эту тьму, — всего лишь одна из возможных дорог, а сколько их вообще — путей-дорог-перепутий? Мой мозг — это звездное небо, мое сознание — это звезды в нем, миллионы включенных в работу нейронов, но не включенных в нее — миллиарды. Мое незнание — это все, что принадлежит тьме. Как много тьмы мне еще предстоит осветить в себе самом. Надо или предстоит? То бишь есть ли у меня на земле какое-то задание, миссия? Этого я не знаю. Но я еще не утратил то, чем наделена только молодость, — намерения исправить мир. Ну, хотя бы самим фактом своего появления в нем.

Я дремлю, сидя на каком-то ящике. Мои языковые услуги никому не нужны. Все перешли на язык войны, а там не до переводчиков. Я предоставлен своему сну. А рядом во тьме продолжается какое-то движение, разговоры вполголоса, мне даже мерещиться, что по-русски. Все вокруг говорят по-русски, и во сне я не понимаю, почему ни слова мне не разобрать…. И вдруг, словно в ответ на мое недоумение впереди, в метрах ста от меня встает огненный куст, неопалимая купина, которая горит и не сгорает… Слышны свист, хлопки разрывов, и по черному экрану неба планируют на ветру медленно гаснущие звездочки. Да это же сигнальные ракеты! Я уже на ногах, глаза широко открыты. Началось!

В «газике» мы мчимся к месту главных событий — туда, где египтяне форсируют водную преграду. А там уже идет война, односторонняя война с воображаемым противником, что затаился за каналом, к которому стягивается наша техника. Одни за другим на плоский берег выкатывают огромные грузовики инженерных войск и сбрасывают на воду огромные понтоны, которые в мгновение ока становятся наплавным мостом на ту сторону — по нему уже идут танки, сухо постреливая холостыми зарядами, потом катит пехота на грузовиках, бронетранспортерах, вон и самоходные счетверенные зенитки «Шилка», в то время как где-то за нашими спинами бабахает дальнобойная артиллерия, расчищая путь… — и все туда, к тем

холмам, за которыми уже обозначилась холодная утренняя заря, с набегающими на край неба облаками, посланниками Средиземного моря.

Мгновенно с неба над нашими головами на нас обрушивается стонущий грохот, — это наши Ил-26 пошли на малой высоте через канал бомбить позиции противника, муляжи его танков, бронетранспортеров, ракетных установок, артиллерийских орудий… Осознание величия происходящего пронзает мой мозг, и я трепещу от восторга, как трепетал в детстве, в кино про войну… «Падение Берлина» с якобы прилетающим туда Сталиным в последних кадрах, который весь в белом, как лебедь…. Я забываю, что это лишь военная игра, в которой все получается, как задумано и прописано, а на самом деле, через три года, в войне Судного дня, в октябре 1973-го получится совсем иначе, то есть египетская армия действительно форсирует канал, прорвет оборону и двинется на Синай, но затем израильтяне в танковом контрнаступлении, в сражении, чуть ли не крупнейшем в истории войн, одержат решающую победу, Третья армия египтян попадет в мешок, заготовленный этим хитрым лисом Моше Даяном, и Египет запросит мира. Затем преемник Насера Анвар Садат, которого мы поначалу считали «своим», затеет шашни с Израилем, получит даже Нобелевскую премию мира, и в конце концов будет убит теми, кто посчитает его предателем интересов своего народа…

Такова история, о ходах которой пока никто не знает ничего.

2009 г.